**ВЕЛИЧАЛЬНАЯ… НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ**

(Семейные хроники)

Главы из книги

**Ярослав Валерьевич Кауров**

Глава двадцать шестая

Я благодарен судьбе за многие встречи с поэтами, писателями, режиссерами и актерами. Вспоминаются лица Плятта, Быкова, Конкина, Губенко, Симонова (сына поэта), Бурляева, Ефремова, Пуговкина, Крачковской, Костолевского, Говорухина, Ахмадулиной. С кем-то довелось сидеть за одним столом, с кем-то участвовать в совместных концертах. Но кое-что запомнилось особо.

Известный нижегородский профессор Вадим  Габриэлевич  Вогралик занимался геронтологией, и к нему приезжали со всей страны очень пожилые люди. Я был тогда студентом-второкурсником, и семья Волских познакомила меня с лежавшим «на профилактике» у Вадима Габриэлевича Виктором Андрониковичем Мануйловым.

Виктор Андроникович Мануйлов – составитель Лермонтовской энциклопедии – был удивительным поэтом, близко знакомым с Мандельштамом, Ахматовой, Блоком и даже Брюсовым.

Когда я впервые вошел в его палату в Областной больнице им. Семашко, навстречу мне встал небольшого роста удивительно лысый человек. Его череп вытянутой формы, как нимбом, был затуманен легким седым пушком. Виктор Андроникович вставал с коечки каждый раз, когда в палату входила медсестра. Медсестра стеснялась, а тот объяснял, что в присутствии дамы настоящий мужчина сидеть не может. Он первым рассказал мне о судьбе Гумилева, о его расстреле, о подкинутых документах заговора. Книги Гумилева тогда не издавались, и я с трудом нашел самиздатовскую распечатку, которую храню до сих пор.

Я прочитал свои стихи и запомнил на всю жизнь отзыв Мануйлова.

- Вы – Поэт! И это высшая похвала, – сказал он.

Так я получил эстафету из бесконечно любимого мною Серебряного века.

До сих пор для меня остается величайшей загадкой, каким образом культурная царская Россия превратилась в то неандертальское болото, которое, за редчайшим исключением, представляет собой искусство советского периода. Как все время, имея перед глазами примеры того, как писали хорошо, можно производить на свет настолько неслыханную ахинею. Как испортились уважительные, корректные, предупредительные, нежные отношения между людьми. В поведении, в быту, в общении мы скатились в липкую неприличную бездну. Кое-что делалось под знаком простоты и искренности, но ни простоты, ни искренности это не принесло. Возник снежный ком хамства, который нарастает и после гибели коммунистов.

Удивительными встречами и напутствием на всю жизнь оказались пятнадцать концертов, которые мне посчастливилось дать вместе с Евгением Павловичем Леоновым – возможно, самым ярким и человечным актером России.

Перенесший недавно клиническую смерть в Германии, Евгений Павлович не мог вести концерты целиком, очень уставал, и меня пригласили заполнять промежутки моими песнями.

Нисколько не преувеличивая, могу сказать, что не в советское богоборческое время Евгений Павлович был бы признан святым. «Заслуженный святой» по отношению к нему – не шутка. Он одинаково разговаривал с директором крупного завода и с потрепанной, блудливого вида уличной кошкой. И все улыбались ему. Не было ни одного одинакового концерта. Леонов действительно тратил сердце. Щедро, бесстрашно. Он рассказывал, что «тратить сердце» ему завещал его учитель Яншин, постепенно передавший ему свои роли.

Он постоянно работал над образом, придумывал новые ходы, почти репризы, спрашивал нас, смешно или нет. Было смешно – и хотелось плакать.

Чувствовал себя он довольно плохо, но считал своим долгом смешить нас даже в автобусе, в котором мы ездили на концерты. Как-то после одного из них мы разговорились в гримерной, и он сказал мне страшную вещь: «Если ты можешь уехать за границу – уезжай. Здесь еще 300 лет ничего не будет». Я ответил, что нигде в другом месте, кроме России, жить не могу. И сейчас думаю также.

Хочется объяснить, что Евгений Павлович посоветовал мне уехать не потому, что не любил Россию, а потому, что ему больно было за нее и жалко меня.

И еще один его рассказ я не могу не передать. Находясь на гастролях в Германии, Леонов почувствовал себя плохо и решил обследоваться. На пороге больницы он умер. Спасла переводчица, которая точно так же чуть не потеряла отца. Моментально была сделана операция коронарного шунтирования, но клиническая смерть перешла в кому, и великий актер не оживал. Из России приехал сын Евгения Павловича, и немецкий доктор сказал ему: «Хочешь, чтобы отец выжил – все время разговаривай с ним. Если он почувствует, что нужен на земле, он вернется».

И сын разговаривал с ним, много дней и ночей без сна шептал ему: «Отец, вернись. Я тебя люблю! Ты мне нужен!»

«Я был мертвый, но помню каждое слово сына, – вспоминал Леонов. – Вышел я еле живой из немецкой больницы и узнал, что мой обратный билет театр продал. Видимо, подумали, что все равно умру». И до сих пор звучит во мне его голос: «Прощение выше справедливости». Когда Леонова спрашивали, какое качество в людях он ценит больше всего, он отвечал: «Стеснительность». Я всегда понимал значение наших встреч, и мне очень хотелось, чтобы Леонов что-то написал мне на память. В качестве бумаги я подсунул ему свое свидетельство о рождении. Вот слова, написанные Евгением Павловичем: «Ярославу – соучастнику наших концертов, скромному, талантливому человеку, с уважением и благодарностью. Е. Леонов 1991»

Еще запомнились встречи с блистательной Беллой Ахмадулиной. Это произошло в Большом Болдино. Приехали мы туда с Андреем Тремасовым на очередной праздник. Пушкинские места всегда навевают грусть. Благоухающие аллеи, вьющиеся в парке вокруг барского дома, беседки, водная гладь, колеблемая лёгким ветерком. Всё время кажется, что из-за поворота легкой походкой выйдет типичный русский барин Александр Сергеевич Пушкин.

Белла Ахатовна приехала в Болдино с мужем Борисом Мессерером. Мы выступали в одном концерте, и я одну из песен посвятил ей. Встав на одно колено, я пропел, обращаясь к смущающейся великой поэтессе:

Пощадите корнета, графиня,

Вы же видите – мальчик влюблен:

Засыпая, твердит ваше имя

И в слезах просыпается он.

Вы же дама из высшего света,

Вам известны все тайны сердец,

Я прошу – пощадите корнета,

Взбунтовался безумный юнец.

Он в мазурке порхает пред вами,

В блеске глаз его – страсть и мольба,

Ваша холодность юношу ранит...

Не гоните, графиня, раба.

Он не тронут хандрою тлетворной,

Не больна ещё скукой душа.

Как легко и по-детски задорно

Он выделывает антраша!

Вы ведь тоже любовью томимы,

Вам наскучил унылый покой.

Кудри маленького херувима

Приласкайте прозрачной рукой.

И пусть даже за полною чарой

Он про вас разболтает в полку –

Всё равно не поверят гусары

Подрастающему мотыльку.

Полюбите корнета, графиня,

А не то, ускользая во тьму,

Перед смертью в бою на чужбине

Вспомнить нечего будет ему.

Она встретила мою эскападу благосклонно и весьма артистично. Объяснение в любви молодого поэта польстило ей, и она этого не скрывала. Вообще во время пребывания в Болдино (всего каких-то 3 дня) она относилась ко мне и Андрею очень по-доброму. Мы небольшой компанией гуляли по парку, нам показывали музей, рассказывали о том, чем питался Александр Сергеевич.  Оказывается, не только просто, но и откровенно бедно. Щи да каша. Занимал всего 2 комнаты. Остальное даже не отапливалось.

Белла Ахатовна была очень красивой женщиной. Даже в старости. На концерте её поющий, завораживающий голос гипнотизировал. Все погружались в состояние транса, медитации. И она парила, поднималась в воздух и улетала с лёгким ветерком.

На прогулках Белла Ахатовна говорила очень тихо. Приходилось прислушиваться. И она будто все время к чему-то прислушивалась. Словно ей было слышно в дуновении парка что-то ещё. Нездешние голоса касались её сознания. Может быть, это были песни её ушедших друзей.

Она была в шубке, но, казалось, ей было зябко. Руки украшали громадные тёмные перстни, шею – бусы.

Она была в чёрных брюках, но так худа, что в брючинах незаметно было ног, и она парила гордо, как «народное достояние». Вообще слова «народное достояние» повторялись часто.

Белла Ахатовна всё время что-то записывала на клочках бумаги. Это были отрывки навеваемых стихов. Она вообще не прекращала сочинять, видимо, рифмы и образы преследовали её, и она привыкла именно так и жить в них, рядом с ними, пропитанная ими. Бумажки эти выпадали из шубы, и за ней, как за мальчиком из сказки, тянулся шлейф, но не из крошек, а из бумажек.

Поклонники подбирали клочки на память.

Мессерер, когда замечал это, бумажки отбирал.

Я постеснялся тогда стырить такую бумажку и всю жизнь жалею об этом. Но не хотелось и прерывать интересную беседу. Она рассказывала о юности, о первых шагах в поэзии. О том, что поэт никогда не знает, пробьётся ли его стих к душам людей, к публике, будет ли оценен. И Пушкин не знал этого. Хотя каждый большой поэт в душе чувствует свою ценность. Говорила, что ощущала в себе стихи с детства. Вспоминала Москву тех лет.

Мы с Андреем подарили ей наш журнал «Холм поэтов».

По вечерам были роскошные банкеты. Я неизменно поднимал бокал за Беллу Ахатовну, и мы вспоминали «щи да кашу Пушкина».

До полуночи в холлах звучала гитара и лилось шампанское. Это время вспоминается как художественный фильм.

**ВЕЛИЧАЛЬНАЯ… НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ**

(Семейные хроники)

Главы из книги

**Ярослав Валерьевич Кауров**

Глава двадцать седьмая

С Булатом Шалвовичем Окуджавой я впервые встретился в «Театре на Таганке». В то время достать билеты в этот храм искусств значило выиграть в лотерею миллион. Зал пестрел, как это сейчас называется, «мультимедийными» людьми. Булат Шалвович был в сверхмодном в то время кожаном пиджаке. От гордости приобщенности к великой поэзии пиджак торжественно блестел. Окуджава бережно, как каравеллу, как великосветскую даму, вёл под руку молодую девушку. Вот когда я понял, что означает «ноги от коренных зубов». Где-то на том же уровне заканчивалась и стильная юбочка. Дама была значительно выше поэта и чрезвычайно эффектно подчёркивала его величие. Я имел нахальство подойти и познакомиться с Булатом Шалвовичем. Не смотря на то, что ему явно было кем заниматься, мой юношеский напор он воспринял с пониманием. К тому же комплименты, которые я расточал ему при даме, были к месту. Впрочем, я был тогда совершенно искренен. Всё моё детство и юность я слушал пластинки Окуджавы. Вертинский и Окуджава были теми творцами, которые формировали мой взгляд на жизнь, вкус, представление о степени иронии и самоиронии, которые допустимы в песне. Мне нравилось независимое поведение Окуджавы на сцене. Никакого заискивания перед залом. Никаких вызываний оваций в конце песни. Самопогружённость, скупость мимики и жестикуляции - вот постулаты, которые привнёс Окуджава. Он как будто пришёл из мира науки. На высокой кафедре он доказывал теорему, известную всем, но ни разу ещё не доказанную математиками. Сам процесс приведения доказательства захватывает его. Он старается быть максимально точным. Это ответственность перед собой, перед искусством и перед Богом. А будет ли за это воздано аплодисментами не так уж и важно. Может быть даже лучше, если за утверждение, что Земля вертится, тебя сожгут. Так лучше запомнят. Булат Окуджава невиданной птицей стоял на сцене, и вспоминалось, что он солдат и был на той, самой страшной для человечества Войне.

Через несколько недель знакомые передали Окуджаве подборку моих стихов, и он согласился со мной встретиться. Это была недолгая беседа, в которой я мог вставить только несколько слов. В основном говорил Булат Шалвович. Не вдаваясь в подробности, он описал мне перспективы писательской жизни: бесконечные, мучительные сомнения творчества, отсутствие каких бы то ни было критериев, которыми можно было бы оценить то, что написал поэт, отсутствие какой бы то ни было объективности в осознании того, что ты же сам и создал. И, в то же время, абсолютность таланта и гения, признаваемого всеми, в конце концов. Я не могу передать, какая боль была в этих словах. «Я никому не могу пожелать подобной судьбы» - в конце сказал он. «Если не можешь не писать – пиши, но только в этом случае. Можешь бросить – брось. Значит, слава Богу, это не твоё и тебе доступно счастье. Стихи хорошие, но ни в коем случае не делай литературу своей основной профессией. Стань хорошим врачом, добейся в своей профессии всего, и тогда, может быть, выстоишь, не погибнешь».

«Пиши - только если абсолютно не можешь не писать» - это стало моим принципом. Достойно публикации только то, что продиктовано Богом, и ты слышал его ясный приказ передать это другим.

И второй совет Окуджавы я тоже выполнил, стал врачом, доктором медицинских наук, профессию свою люблю и передаю её своим студентам.

**Съемки фильма «Цирк приехал»**

Стояло изумительное лето 1987-го года. Я был на каникулах в медицинском институте. Написал несколько песен о цирке. И в это время в город приехала съёмочная группа из Москвы, снимавшая многосерийный телевизионный художественный фильм как раз о цирке. Естественно, я пошёл с ними знакомиться. Мне быстро объяснили, что главный в планировании всего, что будет в фильме не режиссёр, а сценарист. Сценаристом оказался, ставший на долгие годы моим другом, Владислав Александрович Федосеев. Почему-то все звали его Володей. Как же я счастлив, что познакомился с ним. Разница в возрасте была очень приличной, но он отнёсся ко мне, как к товарищу. Мы подолгу откровенно разговаривали, гуляли по Нижнему. Володя с помрежем Ольгой Ильиной часто бывали у нас в гостях, благо дойти от гостиницы Нижегородской до нашего старинного дома было минут десять. Моя мама радушно встречала гостей. Они дивились тем вещам прошлого и позапрошлого веков, которые сохранились в нашем семейном гнезде. Веера, табакерки, лорнеты, столовые и письменные приборы, фотографии - всё это доставалось и рассматривалось с огромным интересом.  Мама очень сдружилась с Ольгой. А я ходил на съёмки, не пропуская ни одного дня. Песни мои в фильм не взяли. Таких коренных изменений в план съёмок фильма внести уже не могли, он был утверждён в Москве, но мелкие изменения постоянно происходили. Ольга, как помреж, обеспечивала реквизит. Не всегда всё удавалось достать. Например, в сценарии стульев венских вокруг стола стоит пять, а достать удалось только три, букет роз белый, а купить можно только красный. Оговорены все мелочи. Сценарий - не только произведение искусства, но и финансовый документ. Хорошо иметь знакомого сценариста, который, тут же не цепляясь к мелочам, перепишет несколько страниц сценария.

Фильм был детский, приключенческий. Снимал его  режиссёр Борис Дуров, который  только что выдал к ликованию толпы прогремевший боевик «Пираты двадцатого века». Состав актёров звёздный: Пуговкин, Крачковская, Дмитриев… Сам Федосеев в своём активе имел сценарий к такому потрясающему фильму как «Земля Санникова».

За Пуговкиным ходила толпа обожателей. Живой, приветливый, блестящий он приковывал к себе внимание всех. Шествовал он без всякой простоты, элегантно, подчёркнуто вежливо. Речь его пестрела громкими фамилиями известных людей. Создавалось впечатление, что перед вами интеллигентнейший актёр из дворянского, если ни княжеского рода, аристократ и меценат. Анекдоты про Андреева, Гарина, Мартинсона, да что там, про Станиславского, Немировича-Данченко и Маяковского сыпались как из рога изобилия. Часто Михаил Иванович был с тросточкой и поигрывал ей с присущим девятнадцатому веку изяществом. Поход его в ресторан, который был тут же при гостинице, сопровождался спектаклем: обслуга выстраивалась как на парад, метрдотель ловил каждое слово, смеялся каждой шутке, заглядывал в глаза. Но не подумайте, что в представлениях был какой-то снобизм, просто он играл всегда, в его существовании не было ни секунды без роли. Он жил, ежесекундно оттачивая мастерство, и наслаждался этим, как ребёнок. Не влюбиться в Мастера было не возможно. К тому времени он снимался уже лет 40 -50 и относился к золотому фонду русской кинематографической культуры. По улицам города Горького шествовал Актёр Актёрыч в самом гротескном и лучшем своём воплощении. Со мной он был любезен и мил, как с ребёнком, подающим надежды, но всегда и везде занят был только собой. За столом все слушали только его.

Впрочем, по ходившим в съёмочной группе анекдотам, Мэтр мог и заиграться. В Горьком нашлись его дальние родственники. Естественно, они зазвали его в гости. Пуговкин пришёл и некоторое время вёл себя, как граф: рассказывал случаи из кинематографической жизни, упоминая великих. По мере возлияний, он превращался в богатого купца, щедрого, с широкой душой и нескончаемым оптимизмом. Шутки становились всё тяжеловеснее. Родственники были, что называется в то время богатыми. Это означало, что обширная квартира утопала в коврах, а типовые стенки ломились от хрусталя. Время шло, и Михаил Иванович уже играл разгулявшегося приказчика, постепенно превращавшегося в бурлака. В конце концов, закуска полетела на ковры, туда же отправился хрусталь. В конце удавшегося вечера бренное тело Великого Актёра было вынесено благодарными родственниками и упокоилось на гостиничной койке до следующего съёмочного дня.

Но как он отдавался работе! Вокруг него, от Везувия его таланта, загорались все и всё. Предметы приобретали новое качество, новую жизнь. Актёры невольно поднимали планку страстей и почти клоунских реприз. Он мог играть пепельницей, портсигаром, мундштуком, они в его руках оживали, как у фокусника.

В очередной день съёмки все собрались у нижегородской кремлёвской стены. По сюжету на крыше церкви должна была состояться схватка укротителя удава из цирка и героя, которого играл Пуговкин. Участок крытой кремлёвской стены и выбрали вместо церкви. Мне представили удава – безвольно валявшуюся и спящую докторскую колбасу почти полметра в диаметре в самом толстом месте и смешно утончающуюся к хвостику. Удав в длину был метров пять. Его флегматичность мне объяснили тем, что он только что съел упитанного кролика. Под стать удаву был и укротитель: детина высоченного роста с изумительно развитой мускулатурой и добрым, как у удава, лицом. Схватка Пуговкина с ним при столь различных весовых категориях представлялась маловероятной.

Предполагалось, что их снимут на крыше в разных гротескных позах, на этом всё и закончится. Влезли на крышу, режиссёр объяснил задачу, но Пуговкину этого было мало. Он предложил немного подвигаться. «Только очень осторожно» - предупредил режиссёр: «Крыша высокая, упадёте – убьётесь»! Но нужно было знать Пуговкина, начал он, может быть, и осторожно, но потом стал заводиться, движения убыстрились. Съёмочная группа испугалась, а пожилой актёр постепенно впал в раж. Он тузил бедного силача как фокстерьер барсука, бил его руками и ногами, пытался укусить. Наконец, они стали кататься по крыше. Все застыли в ужасе. Один режиссёр, смирившись с неизбежным кричал, чтобы не останавливали камеру. Как они не упали, не знает никто. Укротитель пытался защищаться, но это было бесполезно. Акт возмездия закончился только тогда, когда Пуговкин окончательно выдохся.

На следующий день приехали каскадёры из Прибалтики. Высокие, поджарые, идеально сложенные красавцы-викинги, не похожие ни на маленького Пуговкина, ни на мощного широкого укротителя, но это никого не смутило. Женская половина съёмочной группы была от них без ума. Каскадёры натаскали под стену пустых картонных коробок, сделали из них кубик величиной с двухэтажный сарай и обтянули кубик брезентом. Началась съёмка, они спустили с крыши верёвки, стали по ним спускаться и одновременно драться. И, наконец, как бы сорвавшись, упали на брезентовый куб, который сложился, громко бухнув. Все были в восторге. Ночью никто не спал, каскадёры праздновали победу, ассистентки им в этом помогали, чем могли.

**ВЕЛИЧАЛЬНАЯ… НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ**

(Семейные хроники)

Главы из книги

**Ярослав Валерьевич Кауров**

Глава двадцать восьмая

В 1987 году я познакомился со съёмочной группой фильма «Цирк приехал».

В качестве презента сняли в эпизоде и меня. Правда, ролька была без слов, но получилась романтичной. В середине второй серии на площади перед церковью люди должны были заниматься привычными тогда делами, и состоялось несколько миниатюр. Мне предложили роль художника-моменталиста: художника, который на заказ вырезает из чёрной бумаги профили желающих и тут же вставляет их в рамки.

Я долго готовился, научился вырезать, вырезал портреты половины группы, давалось мне это легко, а ещё нарезал пейзажей, животных, орнаментов, хотел разложить всё это на маленьком столике, но этого не понадобилось. В прекрасный солнечный день на широком дворе Строгановской церкви, что стоит на Рождественской улице, начались съёмки. Площадь заполнил люд в картузах, косоворотках, блузках, платочках 20-х – 30-х годов. Возле невысокой кирпичной оградки посадили и меня. Выдали мне широкополую серую шляпу, обрядили в художническую блузу. Две хорошенькие девушки передо мной кокетничали, болтали и позировали. Я с серьёзным видом делал их портреты. Каких-нибудь полминутки – и эпизод закончился. Перевели камеру на другую сторону площади, где мальчишки играли в напёрстки.

Быть актёром мне очень понравилось. Но почему-то потом я решил, что эпизод этот в фильм не попал, не взяли при монтаже. Тридцать лет я был в этом абсолютно уверен. И только теперь, делая эти заметки, я решил пересмотреть фильм «Цирк приехал», благо с интернетом это ничего не стоит. И в середине второй серии увидел себя двадцатитрехлетнего. Это был такой подарок из юности, что у меня перехватило дыхание. Я снова увидел то благословенное лето, солнце юности, улицы любимого города с ещё не снесёнными старинными купеческими домами, честные, наивные и открытые советские лица. Какими мы были недотёпами и шалопаями, как приятно об этом вспоминать!

Съёмки в цирке обернулись знакомством со многими артистами, посвятившими себя этому всепоглощающему, мучительному и прекрасному безумию. Работа на арене – тяжёлый, жёсткий, отнимающий силы и время и дающий величайшее наслаждение наркотик. Нигде так не аплодируют, как в цирке. Буффонада, блеск, оркестр гремит, девушки на арене красавицы-принцессы, жонглёры – кудесники, акробаты – храбрецы, клоуны – мудрецы и дураки одновременно. Познакомился я с двумя клоунами, не буду называть их имена. Их величали гениями, пророчили большое будущее, но, насколько я знаю, ни большой известности, ни славы, ни тем более денег они в жизни не получили. Клоунами они были и в жизни, один был косоглаз, другой как-то странно изломан фигурой. Разговаривали они только о работе, много пили. У меня осталось впечатление о них как о людях глубоко несчастных. В цирке царила ужасающая нищета, животных любили, но баловать их было особенно нечем. Всё время шёл жестокий тренинг. Артисты падали, ушибались и снова повторяли прыжки, кувырки, трюки.

Прямо на арене я познакомился с горячо мною любимым И́горем Бори́совичем Дмитриевым. Интеллигентнейший, добрейший, мягкий человек. Я с удивлением узнал, что он любил похулиганить, щедро одарить случайных зрителей и знакомых репризой. Всё это он делал с такой природной элегантностью, грацией.

Когда я впервые его увидел, он гордо, как будто танцуя, ходил по арене, эдак прогуливался в цилиндре и во фраке, как истинный английский лорд, полный достоинства. Внезапно он издал высокий звенящий звук дребезжащим фальцетом. Этот звук привлёк внимание всех. Походка его изменилась. Он зашагал, высоко поднимая колени и шлёпая стопами.

-«Би-и-им!!!» – задребезжал хриплый фальцет.

-«Да! Бо-о-ом!!!»

-«Что это у тебя на шее?»

-«Хому-у-ут!»

-«А я думал, – тут Дмитриев сделал паузу, – жена-а-а!»

Весь зал грохнул раскатистым смехом. Старая клоунская реприза в его исполнении сработала, как пистолет. Это была не роль, не подготовка к съёмке. Просто блестящему артисту захотелось пошутить, развеселить съёмочную группу, подарить хорошее настроение. В фильме он играл директора цирка и конферансье, довольно расчётливого и не очень приятного человека. И сыграл великолепно. Но сам он был от природы предупредителен, нежен и  тактичен. Его рассказы очень отличались от излияний Пуговкина. Дмитриев рассказывал в основном о других и с неизменным уважением. Да, о великих, но никогда не выпячивая себя. Мои стихи ему понравились. И прочтение их он счел вполне уместным.

И ещё об одной его стороне очень хочется сказать. Он был невероятно,  аристократически красив. Многие актёры постарались бы хоть в какой-то степени эксплуатировать это преимущество. Недалёкие жили бы только этим и, собственно, гордились бы по праву. Дмитриев не обращал на свою красоту никакого внимания, хотя обладал и безупречным вкусом, и аккуратностью. Но везде и во всём виден был, прежде всего, его ироничный, глубочайший, всепрощающий ум. Общение с ним многому научило и меня, и, как мне кажется, других молодых членов съёмочной группы.

Погода стояла великолепная, мягкое тепло обволакивало. После съёмок мы – Федосеев, Ольга Ильина и я – медленно, гуляя по красивейшим откосам над Окой, шли в мой старинный, просторный деревянный дом, доставшийся мне от далёких предков. В этом доме я уже восьмое поколение. Интересно, что в этот год в город завезли огромную партию тихоокеанских крабов. Мама готовила их и ждала нас. Мы садились за большой стол, ели экзотических крабов (почему-то в Москве этого деликатеса не было), пили чай с пирожными и долго-долго разговаривали, я брал в руки гитару, пел им свои песни, у меня их к тому времени было уже много.  Володя и Ольга были и великолепными рассказчиками, и благодарными слушателями. Вообще Федосеев необыкновенно по-доброму отнёсся ко мне. Я был по сравнению с ним пацаном, но он разговаривал со мной на равных. Слушал мои стихи, хвалил, но главное, делился своими мыслями и взглядами на мир. Судьба его была чрезвычайно интересна, хотя и тяжела. Довольно рано он испытал фантастический успех, ведь именно он написал сценарий к легендарному фильму «Земля Санникова». Но после за слишком вольные взгляды был сослан в Сибирь. Жил в том же месте, куда сослали Синявского, автора «Прогулок с Пушкиным». Хорошо его знал.

«Как же Вы там жили?» – спрашивал его я.

«А ты знаешь, так же, как здесь, только тут мы пьём водку, а там пили самогонку», – отшучивался он.

«Все думают, что сценаристы хорошо зарабатывают, только не знают, что это бывает очень редко. Да, за картину получаешь довольно приличную сумму, а остальное время ничего. И получаешь в том случае, если фильм поставят, а сколько сценариев не реализуют. Они годами лежат на полках и могут своей очереди и не дождаться. Вот у меня, – он взялся двумя пальцами за материю, – одни брюки. Если я их порву – ходить мне будет не в чем».

Действительно, для Федосеева вещи, быт, одежда значили очень мало, он жил в мире своих образов, идей, набросков. Он мучительно пытался разобраться в скрытых пружинах этого мира. Может быть, именно после встречи с ним мне настолько уж стали не интересны материальные ценности. Если есть чем поддержать жизнь, всё остальное не важно, главное – это мысли и чувства.

«Ты понимаешь, снова кремлёвские мыслители зашли в тупик, – как бы разговаривая с самим собой, тихо говорил он мне во время наших долгих прогулок. – Они выводили новый вид “человека советского”, а образец получился нежизнеспособный. Приказы может выполнять, даже героически, но без указки безынициативен, вял и ленив. В нём, инкубаторском, нет жизни. Куда эти ребята ни пойдут, всюду тупик».

Мне в те годы слушать всё это было в новинку, и я был очень благодарен ему за искренность.

Были в моём приобщении к кинематографии и потешные моменты.

Например, у Ольги Ильиной в этом мире были и очень сановитые коллеги и подруги: дети известных родителей, которые скорее развлекались возле съёмочной площадки, чем работали. Вот с такой вот красивой и сановитой дамой в теле, с гордой посадкой головы, Ольга меня знакомит. Та представляется, предположим: «Тамара Рудольфовна Станиславская-Данченко!!!»

Я не выдерживаю торжественности момента. «А я так… Слава», – отвечаю я.

К её чести, дама долго и очаровательно смеялась.

Как-то Федосеев ненадолго уехал в Москву, а я, как всегда, завис в гостинице с помрежами, операторами и ассистентами. Вдруг Ольгу вызвал директор картины.

«Пойдём со мной. Познакомлю», – шепнула Ольга.

Визит был не праздничный. Когда я вошёл в номер, директор (пожилой, седоватый, небольшой мужчина с резкими чертами лица) сразу стал отчитывать Ольгу. Она провинилась в каких-то организационных мелочах. Говорил он резко, если не грубо, и как-то панибратски пошловато. Ольга покраснела. Я опешил.

С детства я был ушиблен «Тремя мушкетёрами» Дюма и понятием чести. И тут я почувствовал, что обязан вступиться за даму. В комнате были ещё люди, и они с удивлением наблюдали, как я, гордо встав в третью позицию, стал громко объяснять директору, что уважающий себя человек не смеет так вести себя с представительницей прекрасного пола. И что я, в частности, такого отношения к Ольге не потерплю.

Директор уставился на меня.

«Это кто?» – тихо спросил он. С такой наглостью я мог оказаться сыночком любого, даже первого секретаря.

Директору объяснили.

– Ты кто такой? – приободрившись, повысил он голос.

– Я поэт Ярослав Кауров! – всё из той же третьей позиции вещал я.

На этом месте Ольга меня выпроводила.

– Пускают, чёрт знает кого-о-о!!! – гремел вслед директор.

Инцидент получил огласку, и на следующий день некоторые сотрудники киностудии пожимали мне руку, хотя и хихикали.

**ВЕЛИЧАЛЬНАЯ… НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ**

(Семейные хроники)

Главы из книги

**Ярослав Валерьевич Кауров**

Глава двадцать девятая

Прошло несколько месяцев после того, как съёмочная группа фильма «Цирк приехал» уехала из Горького. Я попал в Москву, и Ольга Ильина пригласила меня посмотреть, как идут павильонные съемки. Так я проник в уникальный Останкинский комплекс. Величие съёмочного комплекса меня просто ошеломило. В ряд шли ангары, в которые можно было поместить самый большой самолёт и маленькую пирамиду. В каждом павильоне шла своя съёмка, осуществлялся свой телевизионный проект. Тут – исторический фильм, здесь – целая деревенька, а там – корабль с инопланетянами. Павильон фильма «Цирк приехал» вмещал в себя и кусочки улиц, и внутренность квартир и магазина, расположенного в подвальчике. Сверху удавами и змеями сплетались провода осветительных приборов. Провода-змеи вгрызались в прожектора, лампы в экзотических зеркальных отражателях. Топорщились разноцветные световые фильтры. Странного вида устройства могли обеспечить снег, туман, дым, дождь. А выше переплетались железные конструкции подъёмных кранов и перекрытий.

Кроме квартир, улиц и перекрёстков, головоломно пересекавшихся в целях экономии места, павильон был захламлён горами реквизита. Главное – это выстроить кадр, чтобы камера взяла участок пространства, с правильно выставленным светом и художественно выстроенной мизансценой, а что творится вокруг – не важно.

В павильоне снимать гораздо проще, возможна плановость. Как-то один из великих западных режиссёров спросил советского: «Как Вы добились иллюзии такого потрясающего летнего ливня в ключевой сцене картины?»

«Было лето. Мы ждали ливня. Когда он пошёл, начали снимать», – ответил наш.

Иностранец не поверил.

Я был молод, и мне захотелось выпендриться: прийти к съёмочной группе, с которой сроднился и которая, конечно, меня за несколько месяцев подзабыла, эдаким загадочным поэтом. Я подчёркнуто классически оделся и надел на мизинец перстень с крупным бриллиантом. Придав лицу некоторую онегинскую отстранённость, я прогуливался по съёмочной площадке.

Ничего не получилось. Во-первых, меня узнали, как будто прошёл всего день с прошлой встречи, во-вторых, на мою загадочность не обратили никакого внимания. Некоторые, увидев кольцо, с юмором спросили: «Чё! Брульянт?»

Я гордо ответил: «Да!».

«Ну ты даёшь!» – весело покачали они головами и побежали дальше.

Скоро любопытство взяло верх, я отбросил позёрство и стал лазить по всем уголкам павильона.

Вот тут-то я и повторил невольно сюжет фильма. В какой-то сараюшке я нашёл большой пыльный мешок и, естественно, заглянул в него.

Кричать и падать в обморок я, конечно, не стал, но некоторое время стоял как вкопанный и усиленно дышал. Из мешка на меня уставилось вполне живое, злобно оскаленное лицо волосатой обезьяны, а под мешком угадывался её мощный силуэт.

В один из дней на съёмки пришла, как королева, Наталья Леонидовна Крачковская. Она была близкой подругой Ольги Ильиной.

Крачковская была королевой милосердной, кокетливой и заботливой. Её непрерывающийся щебет заполнил собой весь павильон. Те дни съёмок, которые я успел посетить, были посвящены непрерывному обсуждению всего, что только случалось в мире, в семьях и в душах близких и дальних знакомых. Собственно съёмка стала естественным, но не главным. Главным были разговоры. Прежде всего, она была женщиной… Красивой, хорошенькой, умной, лучистой, обаятельной, с задорным чёртиком внутри – женщиной. Она приходила с сумками еды, готовила деликатесы сама. Доставалось почти всем. Меня она угощала какими-то печёными пирожками, печеньицами, названия их запомнить я был не в силах. Крачковская со слезой слушала мои стихи, умилялась. Непонятно было, что ей больше нравится: стихотворное искусство или пылкий мальчик. На прощанье она расчувствовалась и обняла меня так мягко и нежно, что… Объятия с мадам Грицацуевой я запомнил навек.

И ещё об одной короткой встрече я не могу не рассказать. Как-то к нам зашёл из соседнего павильона  Игорь Косталевский. Это было посещение небожителя. Он был так высок и невероятно красив… Мне показалось, что женская половина группы просто поползла к нему… На животе! Как ползёт восхищённый жизнью кутёнок. Попадали под его невероятное обаяние и мужчины. И что меня поразило, популярнейший артист смущался. Он смущался совершенно искренне в ослепительных лучах всеобщего внимания, любви и преклонения. Может быть, это и было главным в его магическом обаянии. Сохранённая при уме, красоте и таланте трогательная застенчивость.

С сожалением я покидал этот мир кинематографической иллюзии. Мне было в нём хорошо, он стал мне родным. Хотя остаться только в нём было бы опрометчиво. Меня ждали другие миры.

Несколько раз ещё, приезжая в Москву, я встречался с Федосеевым. У меня тогда был очередной бзик. Я хотел оптимизировать своё существование. Научился сам шить себе одежду. Когда-то бабушка (воспитанница института благородных девиц в Петербурге) показала мне,  как строчить на машинке. Я сшил себе брюки, рубашку для выступлений с гитарой (рубашка была с широкими рукавами и рядом старинных серебряных пуговиц), конструировал куртки, которые имели минимальное количество швов, для экономии времени. Я научился вязать и хотел связать себе толстенный всесезонный свитер на все случаи жизни, который можно было бы при выходе из строя бесконечно и быстро перевязывать. Меня всё интересовал вопрос, как бы тратить минимум времени и денег на быт, чтобы жить только творчеством. Давалась вся эта белиберда легко, но времени всё же отнимала прилично.

Потом, правда, всё это очень пригодилось, когда я стал шить исторические костюмы для нашего с Андреем Тремасовым «Театра поэтов». На нашей сцене сменялись эпохи, а мы были в соответствующих проживаемым временам костюмах. Спектакли «Египет – колыбель страха», «Аркаим», «Эхо Эллады», «Рыцари», «За кулисами шекспировского театра Глобус», «Галантный век»… сменяли друг друга, и всегда достоверность подчёркивалась нашими одеяниями.

Итак, я ездил к Федосееву в Москву. Как-то раз я привёз ему в подарок большую сумку на плечо, которую тоже сшил сам за полчаса. Теперь мы гуляли по московским улицам. Беседы были те же. Время тогда менялось, и поговорить было о чём. Федосеев писал толстенный тысячестраничный дневник на каждый день, описывая все события, происходившие на его глазах в стране. Это обещало стать эпическим произведением. С его наблюдательностью и талантом аналитика мегароман был обречён на популярность. Начинались тектонические процессы в обществе. Федосеев как-то рассказал мне, как почти мальчишкой он пришёл на похороны Сталина. Толпа двигалась медленно, но непреклонно. Кое-где, отсекая определённые улицы и переулки, поставили танки, и об их броню толпа стала давить случайных, прижатых к ним людей. Он сунул руки в карманы и, едва касаясь носками ботинок земли, отдался воле толпы. Сопротивляться было бесполезно, его влекло единое море людей, испытывающих настоящее горе. Толпа была одним организмом, биомассой, многоножкой.

«Вот так же я чувствую себя и теперь, во время этих перестроек, ускорений и путчей», – тихо говорил Федосеев.

Я стал активно концертировать от «Музыкального общества», приобретшего в Нижнем Новгороде большую популярность. Издал книгу своих стихов и привёз Володе на «подарки» целую пачку (больше 100 штук) книг. Федосеев покорно пачку взял, хотя и крякнул. Мне жаль одного неосуществлённого проекта. Он хотел написать сценарий о том, как в смутные времена идут к озеру Светлояр (святому для России месту) люди, ставшие изгоями на родине: купец и монах, стрелец и разбойник, крестьянин и скоморох. Идут на паломничество, сами не зная зачем. Я сочинил для этого сценария несколько песен. Впрочем, эти песни пригодились в «Театре поэтов».

**ВЕЛИЧАЛЬНАЯ… НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ**

(Семейные хроники)

Главы из книги

**Ярослав Валерьевич Кауров**

Глава тридцатая

Каждый раз, бывая в Москве, я старался со своими стихами подойти к какому-то любимому мной деятелю искусства, актёру, режиссёру, художнику. Мне всё казалось, что они могут, раз они такие добрые, умные, талантливые помочь с продвижением стихов. Я не понимал, что хотя они и являются афишей власти, самой власти у них нет. И даже собственные проекты они пробивают через инфаркт, через реанимацию.

**Ролан Быков**

Ролан Антонович Быков был в моём понимании настолько талантлив, блестящ и влиятелен, что к нему я направился в первую очередь.

Тогда Быков был директором Всесоюзного Центра кино и телевидения для детей и юношества.

Вот в этот его Центр я и пришёл. Робко, но настойчиво угнездился в приёмной, где сидели несколько женщин, и стал ждать его прихода. Меня не очень обнадёжили, но и не прогнали.

Ждал я долго. И вот появился Быков. Все ожили, засветились обожанием к гению, заулыбались.

- Вот пришёл молодой поэт, подарил Вам свои стихи – сказали женщины.

- Хор-р-р-роший человек! – пророкотал, будто пропел, Ролан Антонович.

Он не шёл, а танцевал, не говорил, а декламировал. Всё это было так красиво!

Поражала механика его тела, как будто внутренние шарниры располагались у него не так, как у простых людей. И это давало его передвижению-танцу бесконечное количество степеней свободы. Он катился, летел, сплошной танец, балет. Не разговор, а песня, скороговорка. Чей-то знакомый монолог. Что-то из классики.

Мама назвала Ролана Антоновича в честь Ромена Роллана, и искрящееся жизнелюбие Кола Брюньона жило в нём, освещая жизнь всем вокруг.

Времени у него не было, но, взглянув в мои глаза раненого оленя, брошенного котёнка, он сжалился и пригласил меня в кабинет.

Обстановка кабинета была пёстрой: куклы, самовар, картинки, большой для Быкова стол завален кипами бумаг. Как в этом можно было разобраться непонятно, но, чувствовалось, что каждая бумажка жила, двигалась, проползала или пролетала свой путь и обязательно воплощалась.

Ролан Антонович щедро поделился своими стихами. Прочел несколько.

Я тогда и не знал, что великий режиссёр и актёр ещё и прекрасный поэт.

\*\*\*

Одна единственная мысль,

Капризное дитя удачи,

Та, что возносит сразу ввысь,

Та, что решает все задачи.

Искать ее и день, и ночь,

И не найти, вконец отчаясь,

Она уходит сразу прочь,

Едва с тобою повстречаясь.

Декламировал он с некоторым пафосом.

Она приходит лишь сама,

Когда придется, по наитью,

Все клады твоего ума

Не свяжут с нею даже нитью.

Явись, проклятая, приди!

Нет, не является, не хочет.

Я слышу у себя в груди,

Как надо мной она хохочет.

Постой, треклятая, постой,

Когда-нибудь прибьешься к дому,

Придешь к кому-нибудь другому,

А он пренебрежет тобой!

Другое стихотворение было произнесено доверительно.

\*\*\*

Моя импровизация - игра,

Игра в слова словами ниоткуда,

Нет, вовсе не поэзия, причуда,

Поэзия для этого стара.

Тут он сделал паузу и внимательно посмотрел мне в глаза, как будто во что-то вглядываясь.

Я уважаю слово и люблю,

Оно во мне родит такую нежность,

Такую длящуюся долго свежесть,

Я им владею, на него молюсь.

Это была прекрасная, короткая школа, как стихотворного мастерства, так и декламации.

Дошло дело до моих стихов. Я прочёл ему несколько стихотворений.

\*\*\*

Судьбой неведомой ведомый –

На счастье или на беду –

Я пленник родового дома

И старой яблони в саду,

И удивительного света,

Что тихо падал сквозь листву.

И будет длиться, длиться это,

Пока смотрю, пока живу.

Пока пишу, пока мечтаю,

Мой старый дом, мой старый сад,

Как колыбель, меня качают

И что-то тихо говорят,

И охраняют это сердце

Минуты, месяцы, года ...

И я хотел бы после смерти

Остаться с ними навсегда.

Немного надо одиноким:

Чтобы, как сотни лет назад,

Вздыхал, нашёптывая строки,

Мой старый дом, мой старый сад.

Я одинок. Без страха и без грусти

Гляжу в глаза бездонной пустоты.

Она меня до смерти не отпустит,

А после  растворит мои черты.

Я окружен бессчетными стенами.

Они с древнеегипетских времен

Стоят над миром.  Этот серый камень

Ласкал рукой довольный фараон.

Я их встречал в далекой Палестине,

В долинах Эблы, Финикия, Рим…

Их перестраивали и, стирая имя,

Их нарекали именем своим.

И фарсы справедливости и мощи

Бездарный,  обветшалый  трафарет

Под ретушью костлявое, как мощи,

Лицо одно на миллионы лет.

Другие стены будут попрочнее,

Чем эти, что воздвигнуты людьми,

Их мир возвел за столь большое время,

Что наши стены кажутся детьми.

Их возвышала мачеха – природа

И случай – безобразный, злобный шут,

И все людьми взращенные уроды

На них лишь робкой плесенью растут.

Но если я все силы, мысли, нервы

Вложу в один скачок, в один удар,

Я их смету, в пролом ступая первым,

Во мне божественный пылает дар.

Как жаль, но между стен и за стенами

Хозяйка мира – просто пустота,

Она вдали украшена мечтами,

А ближе оскорбительно проста.

Я был поражён степенью его правдивости и откровенности. Видимо я ему понравился, и он не стал скрывать всю бесперспективность на данный момент моих усилий.

- Не-е-е-ет! Сейчас такие стихи писать нельзя-я-я-я! - несколько раз на разные лады повторил он.

- Стихи хорошие, но помочь я тебе не могу. Сейчас стихи нужны другие. Со щенячьим оптимизмом. Приподнятые, понимаешь, такие. А так как ты - в 19-м веке писали. У тебя что, имение есть?

Я рассказал о нашем старинном доме.

- Да-а-а! Случай тяжёлый. – Признал он. – Ты не очень этим увлекайся, а то в Кащенко попадёшь. Не был там? А я был! К писателям не ходи. Там круговая порука. Они даже меня за писателя не держат. К тому времени как выклянчишь у них первую книжечку, умрешь от старости. Ты пишешь как классик. А право на это у нас сейчас есть только у заслуженных. Ты Днепрогэс строил? В Великую Отечественную воевал? Старым партийцем являешься? Тогда, в их понимании, писать должен скромнее. В глаза заглядывать: «Мы, молодые, все как один!»

Вообще поэты счастливее. У актёров, чтобы сложилась судьба у одного, нужно, чтобы у тысячи судьба не сложилась. Тут нужна удача. Актёру платят за позор. Нельзя положить актёра на полку и лет тридцать подождать, когда страна изменится и его талант будет нужен. А стихи пролежат 50 лет, их достанут, и цветы в них будут свежи и покрыты нежными капельками утренней росы. Как будто их еще даже не сорвали. Ты сам должен решить: ты талант или ничтожество. В этом тебя никто не убедит. Как решишь, так и будет. Но если решил, что ты талант, не смей выдавать ничего «чуть ниже», ничего второстепенного, ничего «завтра исправлю», «завтра доделаю». Лучше промолчи. Поэт - это тот, кто открыл свой собственный язык. У тебя, несмотря на молодость, что-то своё есть. Только оптимизма тебе не хватает. Я когда был маленьким, проснувшись утром, иногда визжал от счастья, что живу, и всё вокруг так здорово - солнце, небо, я.

Э-э-эх! Старый ты! Вот было бы тебе лет 13! Я бы тебя тогда через свой Центр протащил. Дети они дети, они даже хорошие стихи писать могут.

Я сказал, что стихи начал писать как раз в 12 лет.

- Вот тогда бы и приходил.

Да ты не обижайся. Обиды, как тараканы по полкам, бегают по душе. От обиды бороться перестаёшь, а ты борись, никогда не сдавайся. Не подходишь ты для этого мира. Борись! Мир изменится. А он сейчас, ох, как меняется…

Я слышал, что мальчиком Ролан Антонович умел по картам предсказывать судьбу. И мне он предсказал всё верно. Только когда слушаешь оракула, знай: всё сбудется, но самым неожиданным образом. Мы встретились в годы большого ещё могущества Коммунистической партии. Видимо тогда у Ролана Антоновича были надежды на благие перемены в обществе. Когда эти перемены наступили, он, как я понял из его последних интервью, ужаснулся нашествию рубля и бездуховности. Со стихами тоже всё получилось и так, и не так.  Отлежавшись на полках, мои стихи попали на страницы самых известных журналов «Нашего современника», «Москвы», «Юности», «Молодой гвардии», даже в газете «Правда» напечатаны, но журналы эти и вообще стихи читаются теперь очень малым количеством людей, и тиражи у них стали меньше на несколько порядков.

**ВЕЛИЧАЛЬНАЯ… НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ**

(Семейные хроники)

Главы из книги

**Ярослав Валерьевич Кауров**

Глава тридцать первая

Театр Ефремова тогда гастролировал в Нижнем, совмещая приятное с полезным. Труппа путешествовала от города к городу на прекрасном теплоходе. Речной вояж по живописным волжским просторам компенсировал неудобства бродячей театральной жизни. Вот тогда в составе небольшой делегации нижегородской интеллигенции я и встретился с труппой и великим режиссёром, определившим содержание театральной жизни  России почти на полвека.

Вторая половина двадцатого века, столь богатая (как мы сейчас начали понимать) гениями из актёрской и режиссёрской среды, была освещена звездой Ефремова. Эта звезда то разгоралась до солнечных размеров, то, удаляясь, мерцала как «Полярная», но всё время оставалась путеводной.

Тот заряд искренности, увлечённости, поиска истины, жажды естественности, которые были вложены в созданные Ефремовым театры, увлекли в водоворот жизни в «зазеркалье» не одно благородное сердце.

Естественно, что я, тогда уже делавший спектакли в «Театре поэтов», мечтал о знакомстве с культовым режиссёром.

Летний день радовал мягкой теплотой. Мы спускались с Площади Минина через Кремль к Нижегородской Набережной. Старинные купеческие дома в богатой лепнине приветствовали нас. Как раз напротив них и пришвартовался красавец-теплоход, на который мы прошли по шатким, колеблемым волжской волной, сходням. Внутри в тесном коридоре всё напоминало коммунальную квартиру, вплоть до сохнущего на верёвках белья и запаха пролетарского варева. Приходило ясное понимание, что труппа – это большая семья. В коридоре появлялись и исчезали лица знаменитых актёров и актрис. Одеты властители душ были в спартански-минималистском стиле. Нижегородцы рассосались, знакомясь с артистами, а я направился в каюту Ефремова. Каюта была небольшой и очень напоминала гримёрку.

Ефремов встретил в какой-то странной (видимо это был сценический костюм) широкой хламиде. Держался он с провинциалами подчёркнуто вежливо, но мягкая доброта его глаз сразу снимала груз официальности. На меня он произвёл впечатление человека очень больного. Длинное, слишком худое тело нескладно искало позу для отдыха, но невидимые острые болевые оковы не давали ему возможности расслабиться и вновь приводили в движение.

Я рассказал, как с детства жил создаваемыми Великим мастером образами. Как вместе с ним менялись мои представления о правдивом и прекрасном. Ефремов слушал, мне показалось, что он не остался равнодушным к моим словам. Как бы высоко не стоял деятель культуры, он прислушивается к мнениям зрителей и слушателей, особенно провинциальных. Мне даже кажется, что чем истиннее, чем грандиознее талант, тем более чутко он вслушивается в голоса «потребителей» его творчества. Я встречался с очень многими. Гении куда доступнее и внимательнее пустышек.

Я, конечно, не могу описать всех покрякиваний, покряхтываний, посапываний, которые составляли основную сущность того, что он произносил. Его мимика была гораздо богаче и информативнее даже его скупых и отточенных фраз. Я попытаюсь передать смысл беседы. А он запечатлелся в моей памяти навсегда.

Зашёл разговор о «Театре поэтов». Я рассказал, что, не смотря на отсутствие сюжета, мы делаем полноценные спектакли с костюмами и декорациями. Описал аншлаги, отметил, что в театр ходит в основном нижегородская профессура.

Взгляд Ефремова стал ещё более заинтересованным:

- Вам повезло, что нет необходимости перевоплощаться, переделывать себя под текст автора (иногда вызывающий отторжение). Стихи ваши. Всё идёт от себя. В этом находка и опасность. Ваш театр ближе к истокам театральной деятельности вообще, к скоморохам.

- Ну почему же, мы перевоплощаемся, каждое стихотворение - это роль.

- А мысли-то всё равно ваши.

Он полистал принесённые мной сборники моих стихов.

Я подсунул ему стихотворение, очень чётко отражавшее то время.

Несется ратник на коне,

Трезвеет пьяница прожжённый.

Крадётся шёпот по стране:

Сидит на троне прокажённый!

Монаха сморщены уста,

И внемлет рыцарь поражённый.

Падений истина проста:

Сидит на троне прокажённый.

Все эти дивные места,

И город, и святой, и древний,

Когда-то рыцари креста

Отвоевали у неверных.

И всё, что покорил их меч,

Завоевало благородство,

Теперь уже нельзя сберечь:

Страна неверным продаётся.

Вокруг потрескалась земля,

И в душном воздухе зараза —

Живьём сжирает короля

Неутолимая проказа.

А во дворце течёт вино,

Смеются купленные жёны,

И в роскоши им всё равно,

Что их властитель-прокажённый.

Он всю страну теперь предаст

Для этой плоти обнажённой,

Он все прокутит и продаст,

Он обречён — он прокажённый.

Понравилось ему стихотворение «Ростовщик».

РОСТОВЩИК

Я богаче короля - и что ж?

Ни за что гоним, презрен, страдаю.

Ненавидят, гонят, словно вошь,

И того гляди ещё раздавят.

Грубый рыцарь дал пинка под зад -

Ничего, зачтется негодяю, -

Все продам - именье, дом и сад:

Пусть поползает, поумоляет!

Все по краю пропасти идут,

Золота не зная превосходства,

Верят в басни, верят в ерунду,

В честь, отвагу, верность, благородство!

Ничего - пройдут ещё века, -

Все полюбят, все меня признают,

А пока век чести, а пока -

Ненавидят, бьют, не уважают

Честного! Ростовщика!

- Но тексты глубокие - задумчиво покачал он головой. – Секрет вашего успеха в искренности.

Я попросил у него совета в постановке наших спектаклей. И началась интереснейшая беседа о трансформации театра, о его дыхании, жизни, метаниях и умирании.

Олег Николаевич скупо рассказал о строительстве «Современника», преобразовании МХАТа.

- Для становления театра надо «взметнуть», создать что-то такое, что никому другому неподвластно, - и он сделал характерный жест, ставшей на миг дирижёрской, рукой.

- Не спешите, всё будет, - в конце сказал он.

- А  как вы деньги за спектакли распределяете? – неожиданно спросил Ефремов.

- Какие деньги? Все спектакли бесплатные.

- А на что живёте?

- Я – врач, Андрей – историк. Работаем по профессии.

- Вы же говорили у вас костюмы, декорации.

- В моём доме сохранились старинные вещи множества поколений, даже бархат, из которого сшиты костюмы, настоящий французский бархат девятнадцатого века. Какие-то костюмы я сшил сам, что-то заказали в театральной мастерской. Настоящие и бокалы, и часы, и шпаги.

- А где на всё это время берёте?

- Я работаю на «Скорой помощи» врачом линейной бригады сутки через трое. И кроме этого и театра ничем не занимаюсь.

Было видно, что понять это Ефремову трудно.

- Мы не спали ночами, на нас работали лучшие поэты и драматурги страны. Деньги распределяли не по ведомости, а решением общего собрания.

Хорошо, что вы не являетесь – тут он сделал пафосную паузу – «ДЕЯТЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ». Вам не надо доказывать власти, что вы достойны выступать. На это уходит очень много времени.

Я даже не знаю, что вам посоветовать. Впустить в коллектив профессионального режиссёра, значит всё разрушить. Ни один режиссёр не позволит вам нести «отсебятину». У него будет свой взгляд, и вы пропадёте. Актер должен быть проводником мысли режиссёра, иначе всё в театре развалится. А вы самодостаточны.

- Может, бросите это всё? - вдруг спросил он как-то особенно весело.

Я почувствовал в вопросе провокацию.

- Уже не можем. Втянулись. – Так же провокационно ответил я.

- Ну а если не можете, так и не слушайте советчиков. Это ваш театр. Ваша мысль. Настоящий судья – только  публика, зрители. Чем оригинальнее эксперимент, тем дороже успех…

С огромной благодарностью я уходил от великого режиссёра, щедро подарившего мне своё внимание и время.

Я тогда оставил труппе больше ста сборников моих стихов. Конечно, большинство из них поплыли, размокая, по водной глади великой реки, но тешу себя робкой надеждой, что кто-то из прекрасных артистов не выкинул их, и эти маленькие книжечки пылятся в качестве сувениров на полках их московских квартир.

**ВЕЛИЧАЛЬНАЯ… НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ**

(Семейные хроники)

Главы из книги

**Ярослав Валерьевич Кауров**

Глава тридцать вторая

В Нижнем Новгороде к театру всегда относились трепетно. Город купеческий. Ярмарка. В театр ходили и на других посмотреть, и себя показать. Актёров холили, баловали. Приезжали иностранцы. Так Шаляпин встретил в нижегородском театре свою будущую жену Иолу Торнаги, итальянку, дочь Гарибальди. И сам Фёдор Иванович прославил нижегородскую сцену, и драматических актёров здесь была неповторимая плеяда. Большой театралкой была моя тётушка Ольга Кожевникова – миллионерша, которая, как она говорила, любила только театр и лошадей. У неё был лучший выезд в городе. Конюшни представляли собой отдельный роскошный дом.

В советское время славилось наше театральное училище. Из его стен вышли многие великие актёры. Некоторое время в нём учился мой отец. А незадолго до этого наше училище закончил Евгений Александрович Евстигнеев.

В те благословенные времена перед сеансом в кинотеатрах играла музыка. В таком джазовом оркестрике и играл после работы молодой Евстигнеев, обычный слесарь завода «Красная Этна».  Ударником он был знатным. Играл артистично, такое выделывал барабанными палочками, что народ приходил на него полюбоваться. Так его и заметил директор театрального училища Виталий Лебский. Евстигнеев был актёром готовым, уже с наработками, с публикой у него был контакт налажен. Нечего говорить о том, что училище он закончил блестяще.

И потом не забывал город Горький, приезжал в училище на экзамены. Нравы тогда были попроще, и на экзамены, и на общение после них пробиралась немногочисленная публика и выпускников посмотреть, и на Евстигнеева. А полюбоваться было на что. На экзаменах Евгений Александрович был очень внимателен, почти трепетно относился к выпускникам. А во время неформального общения, которое после экзаменов иногда затягивалось до поздней ночи, великий актёр блистал всеми гранями своего таланта. Это была настоящая школа, мастер-класс. Евгений Александрович раскрепощался, разыгрывал сценки, демонстрировал разные характеры, иногда вскользь пародировал знакомых, травил театральные анекдоты. Его перевоплощения были настолько полными, что без всякого грима он на глазах превращался в того, в кого хотел. Я еще могу понять, откуда у Евстигнеева возник образ  Дынина, но откуда у него пластика профессора Плейшнера, немецкого профессора, да еще побывавшего в застенках фашистов? Откуда уверенный и абсолютно органичный образ профессора Преображенского, дворянина, да еще именно из священников? Я спрашиваю об этом, простите, как профессор, доктор наук и врач. Я был знаком со старой профессурой. Бабушка, которая меня воспитывала, училась в Петербурге в привилегированной гимназии, в которой французский преподавал француз, немецкий – немец, танцы – балерина императорского театра, географию известный путешественник, а химию крупный учёный. В результате она прекрасно знала 4 современных языка, латынь и греческий, увлекалась изучением эсперанто. Я знал с детства, что означает словосочетание «хорошие манеры».

Как Евгений Александрович, мальчик из рабочего района моего города, мог пропустить через себя такой пласт культуры? Ответ может быть только один – и  он очевиден – это  гениальность.

Он, например, мог сыграть в одной сценке короля, принца и принцессу. Причём верилось. Я, бредивший театром с детства, любил просочиться на такие вечера всеми правдами и неправдами. Благо наш город – большая деревня, знакомых в литературно-артистических кругах была масса. Врачи и физики прочно срослись с  художниками, поэтами и артистами.

Евстигнеев поражал меня не только талантом. В нём была (как ни затаскано сейчас это слово, но другого нет) настоящая демократичность. Без всякого панибратства и наигранности. Он вёл себя с учащимися (к которым примазался и я) как с равными. Равными и по возрасту, и по цеху. Тогда, гораздо больше, чем сейчас, люди верили в авторитеты. Это было искренне. И если такой признанный огромный артист снисходил до простого общения, то ценилось это необыкновенно. Евгений Александрович давал серьёзные рабочие советы: расширять палитру, набирать коллекцию образов, замечая повадки знакомых и друзей, коллекционировать жесты, выражения лица, навязчивые привычки в жестикуляции, голоса. Но делал он всё это не сухо, а с примерами, и тут никто не мог остаться равнодушным. Взрывы хохота следовали друг за другом очень плотно. А уж когда он начинал с мимикой и жестикуляцией травить анекдоты, от смеха не хватало воздуха. Вот парочка театральных анекдотов (не все можно здесь привести), которые мне запомнились.

На сцене идёт спектакль «Овод». В зале разлита трагичность. Пламенного итальянского революционера готовятся расстрелять. Офицер командует расстрелом. Сам Овод привязан к стене, перед ним – строй  солдат. Офицер командует: «Готовьсь! Цельсь!» Солдаты на три движения берут ружья наизготовку.

«Пли!» - командует офицер. Но солдаты не хотят расстреливать героя и опускают ружья к ноге. Офицер бранит солдат и снова командует – «Готовьсь! Цельсь!» Солдаты на три движения чётко берут ружья наизготовку. «Пли!» - командует офицер, но солдаты опять опускают ружья.

- «А-а-а-х! Вы не хотите его расстреливать?» - тут Евстигнеев делает зверское лицо – «тогда я расстреляю его сам!!!» Он приближается к Оводу, целится из пистолета, играет отдачу. Выстрела не слышно. Звукооператор заснул в своей будке. Зал затих. Евстигнеев играет замешательство.

-«Так! Значит вы не хотите его расстреливать!» - повторяет офицер прохаживаясь по сцене – « Тогда я расстреляю его сам!»

Снова целится, снова его рука дёргается, играя отдачу, но выстрела так и нет. Офицер начинает поигрывать пистолетом, подносит его ко рту, дует в ствол… В это время раздаётся выстрел. Офицеру ничего не остаётся, как упасть замертво. Солдаты начинают сначала прыскать со смеху, потом колются окончательно и, держась за животы, убегают со сцены. Офицер лежит. В зале хохот. В самом худшем положении оказывается Овод. Он привязан к фанерной стене. Он изнывает от болезненных судорог смеха. Зал неистовствует. В конце концов, Овод, извиваясь, падает вместе со стеной, и за кулисами открывается вид на ржущую труппу и рабочих сцены. В исполнении Евстигнеева это звучало потрясающе.

Второй анекдот, весьма рискованный в то время, был рассказан в более узком кругу.

В одном известном московском театре скучающие актёры придумали для себя развлечение. Во время спектакля, что бы ни происходило на сцене, какой бы накал страстей ни царил в спектакле, неожиданно для других кто-нибудь из актёров произносил – «Ап!» И все должны были чуть-чуть подпрыгнуть. Нет, можно было и не подпрыгивать, но за это манкирующий традицией артист платил коллективу гривенник. Пустячок, а на чай набиралось. Но в основном заслуженные и народные подпрыгивали и с удовольствием. Представляете, Отелло душит Дездемону, и вдруг она ему шепчет: «Ап!» Слух о традиции дошёл до руководства. Начальство стало присматриваться и прислушиваться. Кончилось тем, что актёров вызвали в партком и начали прорабатывать.

- «Ну, как не стыдно! Вы все заслуженные, народные и вдруг такое ребячество. На спектаклях могут оказаться члены правительства…» Нравоучения затянулись.

- «Всё! Идите!» - раздражённо сказал парторг. Все понуро начали выходить из кабинета. Вдруг тихонечко раздалось: «Ап!» И все подпрыгнули.

Я тогда был почти мальчишкой, стихи свои читать стеснялся да и не очень-то умел. Общение с Евстигнеевым оказалось прекрасной школой.

И ещё об одной встрече хотелось бы рассказать. Я был неплохо знаком с работниками нашего телецентра. Выступал и на телевидении, и радиопередач вышло (включая радиоспектакли «Театра поэтов») несколько десятков. И на моё счастье к нам приехал озвучивать фильм о Болдинской осени Александра Сергеевича Пушкина ещё один из моих любимых актёров - Иннокентий Смоктуновский. Ещё за несколько лет до этого моя мама, Галина Николаевна Каурова, проходила в Москве специализацию и отдала Смоктуновскому мои стихи. Она ярко описывает их встречу в театре.

Смоктуновский играл в пьесе Чехова «Дядя Ваня». Он уже погрузился перед спектаклем в Чеховское время, был пропитан диалогами и монологами интеллигенции времён конца девятнадцатого века. Моя мама очень красива. И в одежде всегда предпочитала классический стиль. А в доме сохранились сундуки с вещами времен заката царской России и одновременно расцвета искусств, моды и вкуса. Мама пришла в перешитой ротонде из нежнейшего парижского плюша, чёрного с малахитовым отливом. Ее белокурую головку украшала маленькая бархатная изумрудная шляпка на лоб, в ушках изящные изумрудные серёжки. Золото всегда идёт к насыщенной зелени.

Смоктуновский умилённо посмотрел на маму. Они совпали по времени, они были оба из девятнадцатого века и удивлённо встретились в двадцатом. Смоктуновский принял стихи с благодарностью и обещал посмотреть.

Прошло несколько лет. Я с нетерпением ждал оценки моих стихов великим актёром. В Нижегородском (тогда Горьковском) телецентре прекрасная студия звукозаписи. Вот в эту студию меня и пригласили к Смоктуновскому. Нужно сказать, что Иннокентий Михайлович, вообще отдающийся работе, Пушкина просто обожал. Он жил его стихами в такой полноте, что растворялся в них. Искренность его не знала предела.

- «Я ведь похож на Пушкина?» - по-детски спрашивал он.

- «Нет, Иннокентий Михайлович, непохожи» - отвечали ему.

- «Но я ведь прекрасно читаю!» - настаивал Смоктуновский.

- «Бесподобно Иннокентий Михайлович! Восхитительно!»

- «И я похож на него».

- «Нет, Иннокентий Михайлович, непохожи».

Он немного обижался, но через минуту снова загорался и лучился счастьем. «Творить» для него было не пустым звуком, а потребностью. И именно так высоко – «Творить!» Он, не смотря на довольно зрелый возраст, выглядел очень молодо и ещё более молодым во время работы. Его белые аристократические руки жили нисколько не менее прекрасного пластичного лица. Длинные трепетные пальцы, казалось, могли выразить любую мысль, любое чувство.

Он позволил мне почитать мои стихи, несмотря на свою настроенность на Александра Сергеевича.

Я начал читать.

Я никогда не видел рая —

Ни снов и ни видений нет.

Но лишь одно я точно знаю:

Там золотой весенний свет,

И яблони цветущей нежность,

Той, что живёт в земных садах.

В наш жадный век — какая щедрость

От лепестка и до плода!

И лихоимцам непонятно

(Они мечтают о долгах!):

Прекрасное всегда бесплатно,

А извращённость дорога.

И не угаснет на мгновенье,

И продолжается века,

Живёт взаимное презренье

Поэта и ростовщика.

И ростовщик всё время знает —

Вертелся, предавал, копил,

Но что-то всё же он теряет —

Украли или не купил.

Поэт скитается по лужам,

Как пленник чистого листа,

Но даром у поэта служат

Талант, любовь и красота:

И красота людского тела,

И рощи, сладостно тихи,

И губы, что дрожат несмело,

Цвет яблонь, солнце и стихи.

Как он слушал! Тонкость, нежность, деликатность, проникновенность.

Он был без галстука. Белая рубашка с расстегнутым воротом. Было видно, что у него совершенно молодая шея и детский взгляд.

Пушкин, его окружение сказывались в каждом его жесте. В этом его настроении мы ясно чувствовали созвучие друг с другом. Взгляд его говорил больше, чем слова. Слова зависали в воздухе, таяли.

«Я прочитал Ваши стихи» - глядя мне в глаза, тихо проговорил он: «У Вас чудная мелодия стиха. Вы идёте непосредственно за Пушкиным. Пишите как он, проще.   Пишите проще… Пушкин гениален ещё и своей простотой!»

Полутона, трогательность, незащищённость – вот воспоминания, которые оставил Иннокентий Михайлович.

Я ощущал с ним себя, как будто встретил дальнего, но любимого родственника и между нами шёл задушевный разговор. Он жил с Пушкиным в его веке, дружил с ним и бесконечно восхищался им. И встреча с гением Смоктуновским была опосредованной встречей с гением Пушкиным.

**ВЕЛИЧАЛЬНАЯ… НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ**

(Семейные хроники)

Главы из книги

**Ярослав Валерьевич Кауров**

Глава тридцать третья

В Нижнем Новгороде есть киноцентр. Его основной площадкой является старый кинотеатр «Рекорд». Расположен он совсем недалеко от центральной улицы города Большой Покровской («Покровки», а в советское время – «Свердловки»), на углу Алексеевской и Пискунова. Именно в нём «лобал» (играл) на барабанах юный джазист Евгений Евстигнеев. В киноцентр с демонстрацией своих новинок регулярно приезжают их создатели из Москвы, Питера и т. д..

Мы с Андреем Тремасовым часто в нём выступали со своими концертами и спектаклями, участвовали в концертах приезжих звёзд. Благодаря этому киноцентру я познакомился со многими прекрасными актёрами и режиссёрами.

Так мне посчастливилось пообщаться в разное время с отцом и сыном Бурляевыми.

С Николаем Бурляевым мы выступали в одном концерте.

Я волновался и, когда меня уже объявили, замешкался, вынимая гитару из чехла. Бурляев с такой искренней заботливостью поспешил помочь мне, что я был просто поражён его простотой и естественной, неподдельной добротой.

Я тогда спел песню о России.

**Скоморошина**

Все мы разного

Роду-племени,

Всем нам помирать,

Да без времени.

Ты минуй, беда,

Землю-вдовушку,

Выпей, как всегда,

Нашей кровушки.

Покатилася,

Как горошина,

По святой Руси

Скоморошина!

А кому из нас

Да богатым быть,

А кому из нас

Долго, сыто жить,

Тот не мать продал,

Не отца сгубил -

У земли отнял

Он остаток сил.

Покатилася,

Как горошина,

По святой Руси

Скоморошина!

А кого из нас

Будут бить битьем,

А кого из нас

Будут жечь огнем,

Слать в Сибирску гнусь

В железах сидеть,

А тому вся Русь

Будет славу петь.

Покатилася,

Как горошина,

По святой Руси

Скоморошина!

Хорошо живем

На святой Руси,

Хорошо живем,

Хоть кого спроси.

Еще год так жить

На все стороны -

На Руси не быть

Даже ворону.

Николаю Петровичу песня понравилась. Сразу после меня выступал Бурляев.

Он очень интересно рассказывал о своей работе, которая больше напоминает борьбу, о ранних любимых ролях, о сотрудничестве с Тарковским. О первой встрече с Андреем Кончаловским недалеко от дома Николая Бурляева (улица Горького дом 6) в центре Москвы. В 1964-ом Николай Петрович Бурляев и поступил сразу на второй курс Щукинского училища, где учился вместе с Никитой Михалковым и Анастасией Вертинской. О совместной работе в спектакле Юрия Завадского «Ленинградский проспект» с Николаем Мордвиновым. О таких своих великих учителях, как Л.Орлова, Ф.Раневская, В. Марецкая, Р. Плятт. Одной из самых любимых работ Бурляев считал фильм «Лермонтов», который он пробивал 4 года, и который ему помог снять Бондарчук.

Больше всего Николая Петровича раздражало издевательство над классическими произведениями и великими писателями и поэтами.

- Нужно очень бережно относится к таким классикам как Лермонтов – говорил он – Непотребство хлынуло на экраны. Глумятся над самыми святыми именами.

А через несколько лет с фильмом «Пушкин. Последняя дуэль» приехали его создатели и среди них сын Николая Петровича Иван и Владимир Сергеевич Юматов. После просмотра фильма мы небольшой компанией (заместитель директора киноцентра Сударев, Тремасов, Юматов, Бурляев и я) остались в кинотеатре и долгие часы общались, обсуждая увиденное, и просто делясь мыслями о своей жизни. Характерно, что отец снял фильм о Лермантове, а сын – о Пушкине. «Общественность» приняла и тот и другой фильм в штыки. Талантливо и позитивно говорить о высоком у псевдоинтеллигенции считается дурным тоном.

Наши гости рассказали о сложностях, возникших во время съёмок фильма. Ещё когда я смотрел фильм «Пушкин. Последняя дуэль» меня поразил образ истинно русского поэта Василия Андреевича Жуковского, созданный Владимиром Сергеевичем Юматовым. В сценах, в которых Пушкин страдает умирая, на высоком вдохновенном челе Жуковского отражается такая нестерпимая, невыразимая мука, что сам Жуковский сдерживается, а зрителю хочется закричать.

Будто гибнет его сын, будто гибнет Вселенная. Кто, как не великий поэт, мог понять другого, ещё более высокого гения со всей полнотой?

Владимир Сергеевич для меня является актёром, воплотившим в своём творчестве все лучшие традиции русской сцены: театральность и реализм, романтизм и беспощадную, ранящую правдивость. Рождённые им образы то нежны, то грубы, то мелочны, то жертвенны. Палитра мастера неиссякаема. Это касается как его театральных работ, так и фильмов, а их у него уже гораздо более пятидесяти.

Меня представили как нижегородского поэта, доктора медицинских наук.

- А Вы знаете, - заинтересовался  он, – я ведь тоже занимался наукой, кандидатскую диссертацию защитил по философии. И по очень интересной теме: «Влияние неформальной сферы межличностного общения на формирование человека и его социальное поведение».

- А у меня была «Влияние малого постоянного электрического тока на различные уровни жизнедеятельности организма». Я даже рассматривал роль биоэлектроэнергетики в возникновении и развитии жизни на земле. Еще и стволовыми клетками занимался.

Я рассказал ему довольно подробно о направлении своих исследований.

Несмотря на разницу в возрасте более десяти лет, мы оказались очень похожими людьми. Почти всё, о чём он думал, находило во мне отклик.

Он говорил и о бедственном положении науки, неприкаянной в мире капиталистического рвачества, и о трудности выбора ролей, когда хочется сыграть разнообразие и положительных и отрицательных характеров, но не запачкать имя откровенно подлыми персонажами, и при этом не повторяться, не опуститься до штампа, до подражания самому себе.

- Я ведь когда-то барабанщиком парады на Красной площади открывал. Когда мальчишкой был. В военной школе учился. Совершенно другое время было…

Владимир Сергеевич рассказывал о том, что его родители Сергей Никифорович Юматов и Татьяна Владимировна Шравлина были актерской семьей.

Когда закончил учёбу и кандидатскую защитил, работал на Гостелерадио СССР, занимался письмами и социологическими исследованиями. Интереснейшие закономерности выявил. Но в какой-то момент он понял, что можно растратить жизнь на составление отчётов, на бумаги и потерять самую большую радость, радость прямого творчества.

Наша компания просидела в разговорах на круглой галерее, покоящейся на колоннаде над фойе кинотеатра «Рекорд», всю ночь.

Наша беседа с Владимиром Сергеевичем запала мне в душу. Между нами зародились какие-то очень дружеские отношения, которым не суждено было, вследствие занятости обоих, продлиться. Я, представляя его загруженность, даже не искал его в Москве. Может быть, эти строки дадут нам шанс ещё поговорить?

На прощание я снял с цепочки и подарил ему золотой крестик. Мне кажется, Владимир Сергеевич должен это помнить, не думаю, что такое встречается в жизни часто. Он порывался отдать мне свой серебряный и обменяться крестами, но я уговорил его так не делать. Я побоялся тогда, что с этим крестом могут быть связаны его воспоминания, и он впоследствии пожалеет, а мне хотелось, чтобы у чудесного доброго человека остались только самые хорошие воспоминания.

**ВЕЛИЧАЛЬНАЯ… НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ**

(Семейные хроники)

Главы из книги

**Ярослав Валерьевич Кауров**

Глава тридцать четвёртая

Когда после окончания института и работы в районе (в посёлке «Линда»), я стал врачом «Скорой помощи», у меня появились очень интересные знакомые. Это была компания друзей, обожавших дореволюционную, царскую Россию. Прежде всего, мне понравилась манера их поведения. Это были те самые хорошие манеры дворянства, да ещё служивого. И ещё одной причиной, которая объединяла человек восемь, были «Звёздочки». «Звёздочками» назывались неофициальные туристические слёты, которые проходили седьмого ноября и первого мая. Организаторы их выбирали место в глухом лесу, и туда по разным маршрутам стекались к назначенному сроку туристы. «Чайники» шли коротким маршрутом, матёрые бродяги выбирали путь посложнее. На условном месте сообща строили трибуну и устраивали альтернативную демонстрацию. Потом на сцене-трибуне давали концерт. Конечно, выступления были, чаще всего, юмористическими. Так вот, компания, к которой я примкнул, ходила почти на все «звёздочки» (сам я был только на двух), не жалея на это времени. Они пошили себе белогвардейскую форму, в ней же и ходили в поход, в ней же и выступали в концерте. В основном разыгрывали смешные сценки. Для одной сценки Алексей Иванов, человек с золотыми руками, большой любитель холодного оружия, мастер спорта по фехтованию, сделал деревянный пулемёт «Максим». Пулемёт получился один в один, даже с небольшой ржавчиной, в него была встроена трещалка, и он мог выпускать из дула тоненькую струйку воды. Очередное своё выступление «господа-офицеры» закончили словами – «как здорово, что все вы здесь сегодня собрались». В этот момент Иванов сделал грозное лицо и нажал на гашетку. Раздался треск, и струйка окатила передние ряды зрителей. Девушки визжали с большим удовольствием. А вечером Андрей Тремасов сменил форменные, цвета хаки, штаны на розовые панталончики с кружевами и ходил от костра к костру, изображая поручика бонвивана Ржевского. Хохот сопровождал его передвижения. С пулемётом был связан ещё один случай. Иванов поставил его на балкон. Народ заприметил смотрящее вниз дуло и перестал ходить этим проулком. Естественно, скоро к нему в квартиру наведались вежливые милиционеры. Алексей, ничего не объясняя, провёл их на балкон. Один из милиционеров радостно ухватился за пулемёт и ошалело посмотрел на Иванова. Агрегат оказался неожиданно слишком лёгким. Стражи порядка извинились, но на последок попросили –«Вы уж рогожкой его прикройте. Беременные женщины пугаются». Иванов закрыл за ними дверь. А за дверью стояла трёхлинейка, правда не рабочая, но с примкнутым трёхгранным штыком.

Настали лихие годы. Закон стал представлять собой нечто номинальное. Расплодились банды, но появилась надежда вернуть что-то из устоев царской России. Так часть из нашей компании начала создавать казачье землячество. Казачьи корни были далеко не у всех, но это никого не останавливало. Пошили теперь уже казачью форму, стали сотрудничать с администрацией города и с милицией (благо многие казаки как раз в милиции и работали). Очень скоро нас стало уже несколько десятков, потом за сотню. Появились и прохиндеи, жаждущие на чём-нибудь нажиться. Но бизнес у казаков не шёл – балагуры и недотёпы, бессребреники. Хотя многие прошли горячие точки, воевать они умели очень хорошо, а деньги у них долго не задерживались. Чем мы только ни занимались: охраняли какие-то ларьки, сопровождали перевозки. Город выделил нашему клубу обширное помещение, его стали использовать как склад. Таскали ящики с курагой, посудой. Все предприятия прогорали. Деньги к казакам не шли. Зато жили весело. Казачьи сходы превращались в застолья. Я работал на «Скорой помощи» сутки через трое. В свободное время вместе с милицией в казачьей форме ловил на московском вокзале карманников, хулиганов. Руководство города периодически привлекало нас к обеспечению безопасности массовых мероприятий и концертов. На очередной такой концерт мы пришли на площадь Минина –центральную площадь города. Возле кремля была сооружена сцена. Я постоял в оцеплении вокруг неё. Площадь, заполненная народом до отказа, кипела, и толпа напирала. Но потом всё устоялось и меня, как поэта отрядили от казачества для общения с артистами. Вёл концерт великий Брунов Борис Сергеевич. Человек – история. При маленьком росте, простецком круглом лице и, как лопухи, оттопыренных ушах, он производил впечатление аристократа. Рассказывал нескончаемые истории и анекдоты (у него нашлись даже о казаках). Например, о дружбе Бориса Фёдоровича Андреева и Петра Мартыновича Олейникова, и об их совместных выступлениях перед публикой. О требовательности Ивана Семёновича Козловского, ходившего закутанным по глаза в шарф, и страшно боявшегося сквозняков. Всё это было рассказано быстро, как-то вскользь, словно бабочка его головы с ушами-крылышками на минуту задержалась над цветком.

Но больше поразила меня Людмила Георгиевна  Зыкина. Её прекрасное лицо светилось такой добротой. Вела она себя так просто и сердечно. Казаки ей очень нравились, и она расспросила меня о нашем клубе, удивилась, что я врач и поэт. Я прочёл несколько стихов, она была в восторге. А я никак не мог привыкнуть к одному обстоятельству. Когда я смотрел её концерты, передаваемые по телевидению, операторы, видимо, снимали её снизу, она была дамой фигуристой, и у меня сложилось впечатление, что Зыкина -    крупная   кустодиевская красавица. А Людмила Георгиевна была маленькой, и мне так удивительно было смотреть на неё сверху вниз, что я просто растерялся. Слыша её потом со сцены, я никак не мог понять, где этот голос зарождается. А голос гремел, обволакивал, туманил сознание, что-то в душе замирало, сжималось так сладко.

В другой раз мы охраняли мероприятие в оперном театре. Приехала целая делегация известных актёров кино. Я воспользовался случаем пройти за кулисы. В длинном коридоре был переполох, кто-то бегал, кто-то кричал, девушки шушукались, седовласые светские львы проходили в задумчивости, никого не замечая. В уголке коридора на стульчике грустно сидел Владимир Алексеевич Конкин. Я не поверил своим глазам и дерзнул подсесть к нему. Вот так вот запросто - Павка Корчагин! Этот фильм я смотрел в детстве множество раз. Вдохновенное лицо беззаветного героя – честного, верного, мужественного, постепенно превращающееся в лик святого. Святым и Мучеником революции он и представлялся. От образа веяло такой энергией, пламенностью, почти фанатичностью. Вот уж действительно культовая личность. Такая слава была не у многих артистов. А потом такая же эпохальная роль Шарапова, настоящего советского офицера-фронтовика, благородного, чуткого и тоже безумно красивого. Я ожидал увидеть человека неукротимой энергии, такого же пламенного как в ролях. И вдруг он сидит понурый, тихий. Я представился. Мы разговорились. Он не только не обиделся на то, что я вторгся в его жизненное пространство, но, казалось, был даже рад перекинуться словом с поэтом. Я выразил своё восхищение его ролями. Он посетовал, что нравы сейчас изменились, и он уже далеко не «герой нашего времени».

- «А вы знаете»- как-то даже робко сказал он – «я ведь тоже пишу стихи. Давайте обменяемся стихотворениями. Сейчас любовь к поэзии – редкость».

Он начал читать.

В этот момент дверь в одну из гримёрок открылась. Вышла очень известная киноактриса бальзаковского возраста. Она была навеселе и чрезвычайно довольна собой. Её костюм (если это можно было так назвать) был на удивление минималистичен. Зрителям являлось богатое, даже роскошное, хотя и весьма зрелое, тело с тонкой талией. Она изящно встала в третью позицию.

- «А ножки у меня лучше, чем у Пугачёвой!» - на весь коридор сообщила она, сделала нечто вроде канкана и удалилась обратно в гримёрку.

- «Вот такой сумасшедший дом у нас постоянно». - Как будто извиняясь, проговорил Конкин и продолжил читать стихи.

К сожалению нигде, ни в библиотеках, ни в интернете я не смог найти стихов Владимира Алексеевича. Видимо, его сдержанность и требовательность к себе не позволили ему их опубликовать. Прошло много лет и я не могу на память их воспроизвести, но, поверьте, они соответствовали самым высшим мерам и ожиданиям. Они были классичны, глубоки и совершенны.

- «А теперь Вы почитайте».- Попросил он.

Я прочёл :

**Весною, очарованный мечтами,**

**И славя солнца радостного лик,**

**Скитаясь полутемными лесами,**

**Ты вдруг открыл в душе своей родник.**

**И наблюдая за поэтом старым**

**С усталою, сутулою спиной,**

**Ты удивлялся: "С драгоценным даром -**

**Он слабый, нищий, жалкий и смешной?"**

**Родник струится, время землю гложет,**

**И вдруг ты начинаешь замечать,**

**Что ничего уже в судьбе не можешь,**

**А только видеть, слышать и писать.**

**Ты беззащитен; все, что сделал, -  тленно.**

**Да , ты - поэт, но только лишь поэт.**

**Никто не удержал одновременно**

**В руке своей перо и пистолет.**

**И ты уже спокойно наблюдаешь,**

**Как осенью уходит жизнь лесов,**

**Как падают на землю, истлевая,**

**Листы тобой написанных стихов.**

**Как бьется в стены голос одинокий,**

**Как оставляет жизнь твои глаза,**

**А твой родник все бьет, живой, жестокий,**

**Багрян, как кровь, и чист, как бирюза.**

**Настанет день - он смоет оболочку,**

**Он - главный, ты ему не господин.**

**Он скинет тела ветошь, как сорочку,**

**И заструится солнечно один.**

«Прекрасно и как несовременно». – Проговорил Конкин.

Слово «несовременно» он произнёс как похвалу. Мы проговорили довольно долго. Я, в который уже раз, убедился в том, что настоящие актёры часто необыкновенно далеки от своих ролей. Владимир Алексеевич Конкин в жизни был нисколько не похож ни на Корчагина, ни на Шарапова. Конкин предстал передо мною как тончайший, в хорошем смысле этого слова, «рафинированный» интеллигент. Начитанный, стеснительный, умнейший, безумно талантливый русский интеллигент он был предупредителен и даже нежен. От этого общения у меня осталось чувство преклонения и восхищения настоящим человеком! Конечно, в нём жили и мужество, и беззаветность Корчагина, и чуткость, и благородство Шарапова, но его личность была совершенно другой.

**ВЕЛИЧАЛЬНАЯ… НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ**

**(Семейные хроники)**

**Главы из книги**

**Ярослав Валерьевич Кауров**

**Глава тридцать пятая**

Глава тридцать пятая

Это был год двухсотлетия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вся страна готовилась к празднику. На каждом перекрёстке висел громадный плакат с ликом Поэта. «Пушкину 200» – красовалось на нём. По такому поводу в Болдино запланировали грандиозное действо. Строились великолепная гостиница и культурный центр. Болдино приобретало черты столичности. Всё, что можно было отремонтировать, ремонтировалось. У нас с Андреем Тремасовым тоже творческая жизнь била ключом. «Театр поэтов» завоевал многие подмостки нашего города. К этому времени мы уже поставили более 20–ти спектаклей. Актёров в театре было всего двое: я и Андрей, но в спектаклях мы отразили почти всю историю человечества: Аркаим, Египет, Элладу, древний Рим, Рыцарство, театр «Глобус», Галантный век, Золотой век русского дворянства, Декаданс, Гражданскую войну и наше время. Спектакли были не сюжетные, а тематические коллажи из стихов и песен в костюмах эпохи и её атрибутами: шпагами, мечами, часами и кубками. К этому же времени мы стали встречаться большой компанией у Северной башни Нижегородского кремля, установили там табличку «Холм поэтов». Сложилась (благодаря усилиям Тремасова) редакция журнала «Холм поэтов» и вышел его первый номер. Достаточно спонтанно возникло мнение, что мы – редакция – должны  присутствовать на празднике 200–летия Пушкина в Болдино. Но как? Заранее мы никаких подготовительных действий не проводили. В программу, составленную на самом высоком уровне, не входили. И, главное, мы прекрасно понимали, что не то, что места в гостинице, даже закутка за печкой в бане у праправнучки Арины Родионовны уже не будет. Всё давно сдано и расписано. Но разве можно сломить волю поэта! Решение нашлось самое простое. Все мы были туристами, у меня была палатка, спальников хватало, поэтому мы решили пойти в полную автономку. Консервы, галеты, фляжки с огненной водой, всё для разведения костра и даже Андреевский флаг – всё собрали. Вот так вот, знатно упакованными, мы и прибыли на автобусе в колыбель пушкинского вдохновения – Большое Болдино. Мы представляли собой эпическую компанию. На это занимательное зрелище слетелись посмотреть мальчишки. Все мы с громадными рюкзаками. Возглавлял марширующую колонну я с палаткой в руках и метровым, тяжёлым, как меч, мачете у пояса, далее шёл Андрей Кульпин с топором, замыкал шествие Андрей Тремасов почти налегке, зато с внушительной шпагой. Таким вот табором мы прошествовали по улицам Болдино и вторглись на территорию музея. Там шли судорожные последние приготовления. Чистили дорожки, вырывали микроскопические сорняки с клумб. Смотрительницы разных возрастов склонили свои станы, как крепостные в полях.

– «Где директор?» – грозно спросил я.

– «Нет директора!» – почти истерически округлив глаза, ответила самая смелая.

– «Куда он пошёл?» – ещё строже настаивал я.

– «Вон туда!!!» – не выдержала самая пугливая.

Мы промаршировали вглубь парка.

– «Где директор?»

– «Пошёл во-о-он туда!»

Так мы блуждали по территории полдня. Нас посылали в разные стороны, но директора не было.

Как нам потом объяснили, верные и преданные смотрительницы, жертвуя собой, уводили нас от любимого директора. Они уверились в том, что наша вооружённая компания преследует его с преступными, членовредительскими намерениями. Пробродив полдня и устав, мы решили найти место для разбойничьего лагеря, оставить там тяжёлые вещи и тогда уж точно догнать начальство. Как опытный кочевник я принял решение разбить лагерь у речки. Вода всегда необходима и для питья, и в гигиенических целях.

– «Где у Вас тут речка?» – спросил я у престарелой селянки.

– «Речка?» – испуганно переспросила она.

– «Да!»

– «Там!» – она довольно неопределённо махнула рукой и ушмыгнула.

– «Странная реакция местного населения» – констатировал я.

Мы прошли в этом направлении около километра.

– «Где речка?» – отловил я следующую аборигенку.

– «Там!» – пришипившись, так же неопределённо махнула она рукой.

Мы совершили ещё один марш–бросок.

– «Где речка?» – уже с нажимом спросил я, поймав какого–то юркого старичка, видимо настоящего старожила.

– «А вам почто?» – сощурив глаз, с хитрецой спросил дед.

– «Мы поставим там палатку, умоемся, вскипятим чай» – терпеливо объяснил я.

– «А ну-ну, оно конечно…»

– «Так, где речка?»

– «Оно конечно! Идите – идите. Оно конечно. Чаю вскипятите. Во-о-он туда!» – и он махнул рукой в поле.

Мы уже не шли, а ползли под тяжестью рюкзаков. Один Тремасов налегке шёл посвистывая.

– «Они почему речку от нас прячут?» – спросил тяжело дыша Кульпин. –« Боятся, что мы её отравим?»

– «Кто их знает» – просипел я. В горле совершенно пересохло. Мы шли по полю всё дальше и дальше. Местность всё понижалась и понижалась.

– «Речка должна быть в самой низине!» – мудро предположил я.

– «Да» – только и выдавил Кульпин. Наконец, мы заметили противоположный зелёный склон. И вдруг до нас донёсся непередаваемый запах.

– «По-моему, это речка» – уже мрачно предрёк Андрей Кульпин. Он сделал ещё несколько шатких шагов и, споткнувшись, сел. – «Я дальше не пойду».

Уже почти уверенный в его правоте я оставил рюкзак и всё–таки дошёл до желанной речки. На дне оврага с трудом переливался ручеёк какой–то вязкой зловонной жижи. Наверное, ручеёк тёк через ферму и вобрал в себя все её нечистоты. Мне припомнилось лицо старичка в тот момент, когда мы сообщили ему, что собираемся попить чайку. Что-то провидческое мнилось мне в его прищуре. Видимо одно только напоминание о речке заставляло местное население содрогаться.

– «Всё! Возвращаемся!» – довольно недружелюбно сказал Кульпин.

Кончилось тем, что мы обосновались в самом Болдино рядом с палатками МЧС, недалеко от колонки с водой. К вечеру приехали МЧС-–ники, ещё позднее милиционеры. Мы посидели у костра. Андрей Тремасов остался с ними немножко выпить. Сначала Кульпин, а потом и я ушли спать в палатку.

– «Ну, что всем по сто пятьдесят, а Пушкину двести» – расслышал я под конец слова Тремасова.

 Под утро я проснулся и выглянул из палатки. Местность вокруг изменилась. Всё также горел костёр, перед ним сидел одинокий Андрей Тремасов, а вокруг в самых экзотических позах лежали тела милиционеров и солдат. О поле, поле! Мне вспомнилось великое стихотворение Константина Симонова – « на минном поле вперемешку тела то вверх, то вниз лицом…»

– «Ты чего тут?» – спросил я Андрея.

– «Не умеет пить молодёжь! А эти ещё из лучших…» – задумчиво проговорил Андрей, цитируя Атоса.

– «Спать иди! Завтра дел полно!» – проворчал я.

Наутро я начал его будить – «Вставай, умываться пошли!»

– «А может, обойдётся?» – мурлыкал он спросонья. Но потом, как ни в чём ни бывало, поднялся. На бегу к колонке он легко сделал несколько антраша (в прыжке «ударил ножкой ножку»). А поле с телами солдат и милиционеров осталось также неподвижно.

Мы отправились к устроителям праздника. Сначала нам ответили, что программа свёрстана ещё полгода назад. Но известность «Театра поэтов» тогда была настолько велика, что прослушав нас и увидев мою «гусарку», они предложили нам в разгар праздника выступить на самом центральном месте – высоком крыльце усадьбы перед памятником Александру Сергеевичу. Тремасову даже выделили пушкинскую крылатку и цилиндр. Стихи мы, естественно, должны были читать свои из спектакля «Дворянское гнездо». В опьянении  успехом мы гуляли по аллеям парка.

– «Как аккуратно они всё тут сделали, с какой любовью!» – восхищался Андрей.

Нас обогнал мальчик лет одиннадцати с удочками. Он явно спешил к пруду. Но вдруг он замешкался. Мы поняли, на что он смотрел. Из обрамления клумбы вывернулся камень. Мальчик присел, заботливо поправил камушек и побежал с удочками дальше. Этот поступок ребёнка, вовлечённого в общее дело, так растрогал нас, что мы ещё долго оставались в умилении и вспоминаем этот эпизод до сих пор.

И вот настал день праздника. Мы выступали с Андреем Тремасовым на высоком крыльце перед всей титулованной публикой. Андрей выступал вдохновенно, крылатка его развивалась. Я пел под гитару, и мой красный гусарский ментик алел как рана великого поэта.

Приехала Валентина Ивановна Матвиенко. Все встречали её с большой помпой.

Я читал стихотворение из спектакля:

Бледнеет сумерек слюда,

И открываются ворота,

И выезжают господа,

И начинается охота.

Держа арапники в руках

Как символ власти господина,

Гарцуют в дорогих мехах

Дворяне - старый барин с сыном.

Охотники ведут собак,

На сворках гончие, борзые,

Играет молодой гончак,

Косятся лошади гнедые.

Доезжих где-то слышен гон

И улюлюканье лихое,

Как будто лес со всех сторон

Ожил от зимнего покоя.

Вот на опушке крупный волк

С седой спиною показался,

И старый барин вдруг умолк,

Помолодел и подобрался.

"Ату, ату!" - и понеслись

Гнедые лошади, собаки,

С галопа перейдя на рысь,

Чтоб первым долететь до драки.

И первым барин молодой,

Собак арапником стегая,

Не придержав коня уздой,

Вмиг соскочил с него, играя.

И прыгнул зверю на хребет,

Ловя его рукой за уши,

Пьянее крови браги нет,

Чтоб воина потешить душу.

И придавив его, вогнал

Блестящий, острый, как иголка,

Прямой охотничий кинжал

По рукоять под ребра волка.

Вот так по рощам, по полям

Под лай собак, придворных крики

Создавший титул короля

Скакал когда-то Карл Великий.

Вот так же русские князья,

Которым власть давало вече,

С дружиной верные друзья,

Неслись вперёд, расправив плечи.

И эту нить не разорвать,

Она в крови у меченосцев,

Как будто вновь идут на рать

Перун и Один - братья россов.

Из крови в кровь, из рода в род

Передаётся эта сила,

Которая не раз народ

От  разоренья защитила.

То кровь князей, то кровь бояр -

Храбрейших, первых в лютой драке,

Тех, что секли хазар, татар,

Французов, немцев и поляков.

Всегда узнаешь этот взгляд -

Хозяев, а не белоручек,

Что в рост под пулями стоят,

Сказав: "Не кланяться, поручик!"

После выступления перед памятником Пушкину мы пошли в беседку над прудом и в ней устроили нескончаемое выступление до самого позднего вечера. К нам присоединились Андрей Кульпин и Валерия Арсланян. В разгар нашего выступления мимо нас прогнали строем членов нижегородского отделения союза писателей. Тогда, ещё до моего вступления в Союз, отношения между нами были несколько натянутыми.

– «Пойдёмте к нам!» – приглашали мы тех, с кем дружили – «Выступите! Мы Вас шампанским угостим».

– «Нет, мы организовано». – Уныло проговорили они и потрусили дальше. Организовано их загнали в Лучинник в нескольких километрах от Болдино. И получилось, что в двухсотлетие Александра Сергеевича в Болдино из современной поэзии звучали только наши стихи. Были разные песни и пляски, но стихи были только наши. И мы выступали до темноты. Мимо нас шли толпы гостей со всей страны. Многие выражали восхищение, и мы были абсолютно счастливы. На следующий день праздник продолжился, и произошли две знаменательные встречи. В толпе я углядел Говорухина. Остановив его, я с удовольствием и гордостью подарил ему журнал «Холм поэтов» и рассказал немного о нашем театре.

– «Удивительно и радостно, что в провинции есть такие солидные издания» – сказал он, листая журнал. – «Это вселяет некоторый оптимизм, а то, кажется, что в России поэзия совсем уж заглохла».

А после, гуляя с двумя Андреями, Тремасовым и Кульпиным, я увидел торжественное шествие митрополита Николая со свитою. Я был с ним неплохо знаком и, держа в руках журнал, подошёл к нему. Митрополит Николай всегда был для меня святым человеком. Фронтовик, он потерял на фронте часть стоп, но поклялся там, под снарядами, стать священником. Отстоять службу для него было делом не простым. Но он остался неизменно ровен, кроток и щедр. Доброта его не имела пределов. Журнал он принял с благодарностью, благословил меня и подарил мне серебряную иконку Богоматери. Я отдал эту иконку Андрею Тремасову. Ведь журнал был прежде всего его заслугой. Андрей долгие годы носил Богоматерь на шее вместе с крестом. Мы подарили журнал музею. А ещё один журнал мы по договорённости оставили на скамейке в парке. Его подобрал какой–то мальчик и отнёс родителям. Нам до сих пор интересна судьба этого журнала и этого мальчика. Мы думаем, что он стал поэтом. Уезжали мы из Болдина со светлой душой.